

Сергей Ахметов

## Воскресенье

Болят. Как болят, собака! Закончится это когда-нибудь?

Открываю глаза. На этот раз требуется всего лишь секунда, всего лишь мгновение, чтобы осознать себя. Нет того приятного полусонного состояния, которое люди испытывают по утрам. Когда проснулся раньше положенного и понимаешь, что можно ещё понежиться в постели, потянуться. Да и утра нет.

Вокруг глухая темень, рассветом ещё даже не пахнет. Пахнет потом, пахнет спиртом, лекарствами пахнет.

Сегодня она тупая, ноющая. Хотя, конечно, не так. Руку почти совсем парализовало. Человек ведь ко всему привыкает. К смраду тел, к виду крови, к стрельбе в живые мишени... Вот и к боли привыкает. Потому режущую, рвущую боль почти не чувствую. А вот эту тупую, отдающую в плечо, в грудь, чувствую хорошо. Это она не даёт сегодня спать, это она, паскуда, влезает в сон. И там она со мной рядом, внутри, вокруг, всюду.

Что снилось? Как будто бы наш аул возле станции Лепсы... Я слышал блеяние баранов, кудахтающие кур на соседнем подворье, где жила русская старушка. Как будто пахло костной мукой, удобрием. И было бы приятно, было бы радостно от детских воспоминаний во сне, если бы не она...

Глаза привыкли к темноте и ухитряются различить стрелки на будильнике. Без двадцати пять. Разбираю и название на циферблате: «Агат». Вчера она позволила мне проспять до шести. Вот так счастье.

Как там эти фантасты написали? Восемьдесят процентов дней начинаются со звона будильника. Помню, «Молодая гвардия» публиковала. Солидно. Тут, стало быть, случай из ряда вон. Этот мой «Агат» никогда не прозвонит. У меня свой будильник, внутренний. Чтоб ему пусто было.

Надо вставать, надо умываться, завтракать. Двигаться надо. Зарядку делать. В редакцию схожу. Там ребята сидят, письма читают. Пособлю, отвлекусь. Она ведь никуда не уйдёт, она будет давить, стучать, распозаться будет. А мне что? Я о ней думать не буду.

Холодная водичка отвлекает мысли, свежо становится, бодро. Потом растяжка, гимнастика переключают мысли на другую руку, на ноги и туловище.

Потом завтрак отвлечёт. Запах хлеба и варёного яйца, да с солью, да с луком. И катись она к шайтану!

Ну вот и рассвет, вот и утро. Весна, солнечно. Птички щебечут за окном. Тепло будет. Шесть часов.

Значит, иду в детскую. Они поступили хитро. Сначала жена обрабатывала намёками, пересказывала все женские сплетни: кто-что купил, у кого-что появилось: гляди, мол, завидуй. Потом подключились дочурки. Купи да купи. И вот красуется у них в комнате «Чайка» в лакированном корпусе. Модифицированная радиола с электропроигрывателем для грампластинок—вещь. А подсветка шкалы им особенно нравится, крутят, вертят регуляторы, наблюдают за перемещением указателя по диапазонам.

Щелчок, шум—и вот издалека приветствует диктор.

«Передаём сигналы точного времени...»—вещает.

Под гимн и «Утреннюю гимнастику» хожу по дому. Возвращаюсь к себе. Не могу не взглянуть на рабочий стол. Включаю лампу. Он захламлён, плотные стопки бумаги перемежаются с расхлябанными, неровными. Посредине шесть-семь жёлтых листков лежат поверх друг друга. Казалось бы, бардак. Так кажется. Но знаю: стоит сесть, вчитаться, вникнуть, как всё встанет на места. Станет очевидно, отчего этот листок лежит поверх этого, а тот краешком выпирает промеж двух других. Взялся переводить на казахский язык большой труд—«Ленин в нашей жизни»—на пятнадцать авторских листов. Вот и мелькают заметки, каждая наведёт на нужную мысль. И только перьевая ручка лежит не на месте. Вставляю в настольный письменный прибор на гранитной основе. Рядом с чернильницей блеснула стальная двадцатка. Это подарок друзей в честь двадцатилетия Победы. Оглаживаю его. Гладкое, приятное покрытие.

Шкаф привычно пахнет нафталином. Жена до жути боится моли, каждые выходные осматривает шкафы и заранее злится, настраивает себя на неприятную находку, на дырку или потёртость. Только никогда не находит и ещё какое-то время продолжает лютовать. Но не в этот раз. Уехали в гости. И я остался один.

Одеваюсь с привычным тщанием. Собираюсь на работу. Нужно выглядеть достойно. Иду к зеркалу в прихожей. Женино зеркало, большое, с узорной резной окантовкой. Она такие вещи любит. Пришедших даже приглашать пройти не требуется. Сразу у входа — красота, раритет: глядите, восхищайтесь, а потом рассказывайте всем. А она растекается в улыбке, чуть свысока, с дерзкой, с вызовом. Ух и красива в такие минуты! Да я для тебя десяток таких зеркал достану! А ты хвались, рассказывай, гордись. Раз уж выбрала такого горемычного, то хоть так тебе душу пораду. Чай, небесполезный.

Ох и намучился тогда. Директор деревообрабатывающего завода в селе Дорожник — человек сложный, фронтовик. Мы с ним пересекались в сорок втором под городом Великие Луки в Центральной России. Казалось бы, чего больше? Но не тут-то было. То у него свободных рук нет, то свободного станка, а то и свободной древесины. У директора-то деревообрабатывающего завода. Всё у него несвободное, прям рабовладельческая Америка! Уж как я его только не обрабатывал. И в баню приглашал, и путёвки в санаторий предлагал, и подписку на Александра Дюма или Марка Твена. А уж сколько партий в нарды пришлось ему уступить — не честь. И всё-таки уломал. Дал отмашку директор, и уже через месяц его умельцы привезли это зеркало, сделанное по особому эскизу. Таких нигде больше нет. Ни у кого. Жене на радость.

Гляжусь в зеркало. Правой снимаю фетровую шляпу с вешалки и ловко, с переверотом, надеваю на макушку. Пальцами провожу по козырьку, поправляю. Хорош, щёголь. Зеркало отражает во весь рост. Честно отражает, досконально. Пристенный, с тонкой полоской, пиджак мужественно расширяется в плечах, нейлоновая рубашка заправлена в брюки-дудочки, туфли с зауженным носком блестят хромированным покрытием. Живот едва-едва выпирает, прямо так, как надо: чтобы застёгивался пиджак, но с небольшой натяжкой, для солидности. Кажется, всё при мне. Зеркалу-то что? Оно беспристрастно.

Отхожу, собираюсь выходить. После осмотра чувствую: чего-то не хватает. Но это всегда так бывает перед выходом из дома, у всех. То ли забыл чего-то сделать, то ли забыл чего-то взять.

Ощущение неполноты.

Спускаюсь во двор. Пусто. Воскресное утро. Всем хочется поспать подольше. Победили ведь! Теперь можно поспать в воскресенье. И в понедельник можно, и во вторник — прикорнуть вечером после трудового дня. А то и завалиться пораньше, часов в десять. Это тогда тыловики не знали слова «сон». А теперь можно, теперь даже нужно. Кто хорошо отдыхает, тот и трудится как ударник.

О тишине речи нет. В Алма-Ате тишины не бывает. Что ночью стрекочут светлячки, что ранним

утром слышны отдалённые крики петухов, что теперь птички голосят. Теперь город обновляется. Это раньше отовсюду слышалось мычанье коров или истошные вопли ишаков. У каждого второго имелось своё хозяйство. Теперь не так. Теперь, если задрать голову, кроме пышных, а где острых зелёных макушек тополей, всюду видятся жёлтые стрелы строительных кранов. А где-то вдалеке взор властно и даже как-то ревниво приковывают горы. Город становится промышленным, чтобы ещё больше пользы приносить родной стране. В небо из полосатых труб бьют белые дымы заводов и потом образуют собой буроватые барашки облаков. Это заводы тяжёлой промышленности, хлебозавод, домостроительный комбинат, электротехнический... да мало ли какие ещё? Город занимается производством всего необходимого для Родины, для людей. Теперь уже не надо переоборудовать все производства под военные нужды, теперь не надо. Пора производить для людей, для жизни, для быта. А выбросы — это ничего. Здесь горы, здесь деревья, здесь источники. Всё почищается, всё проветрится.

В уши льётся весёлая непрерывная трель речушек. Арыков в Алма-Ате сотни, тысячи, каждый квартал ими окружён, питается ими, зеленеет, пахнет, цветёт. Это жизненные соки, артерии, кровь земли, да какая: чистая, горная, свежая — самая здоровая кровь!

Выхожу на улицу Калинина. Справа остановка. Размышляю с минуту. Нет, трёх копеек за проезд не жалко: ждать долго.

Что же, стало быть, собрался на пешую прогулку по городу. Слева робкие лучики утреннего солнца отражают стеклянный фасад новенького кинотеатра «Целинный». Объект сдали только в этом году. Экран там, говорят, самый большой в Казахстане. Стыдно становится, что так и не удосужился сводить туда девчат.

Но вот, поворачиваю направо, прохожу мимо доски объявлений и вижу афишную тумбу. Она вся обклеена пёстрыми плакатами, аккуратно, заботливо, один к одному.

«Где ты, моя Зульфия?» — гласят белые буквы прописного почерка. Красиво. Что-то наше? Эх, нет. Узбекское. Радость за узбекских товарищей с примесью досады. Думаю, надо посмотреть.

«Джура» — читаю красный шрифт. Под надписью стоит казахский парень с «мосинкой» в руке. О! Это точно наше. Нет? «Киргизфильм», оказывается. Вот дают! Стало быть, киргизский парень. Что там ещё есть? Досада усиливается.

Кинофильм «Космический сплав» режиссёра Левчука... Хорошо. Нужно сказать ребятам. Пусть посмотрят и напишут рецензию. Тематика — актуальная.

Ну так вот же оно! — Вот! — вскрикиваю.

Дородная девка оборачивается. Она одиноко мела площадку перед тридцать шестой школой, а тут я кричу как резаный.

Киваю, улыбаюсь. Она рукой замахала, дурёха. Подумала, небось, что к себе её подзываю, в кино сходить. Снова улыбаюсь, галантно приподнимаю шляпу и захожу за тумбу, прячусь. Разглядываю.

«Меня зовут Кожá» — детский художественный фильм. Ну! Могут же, молодцы! Эх, Бердибек жолдас! Читал, читал. А теперь и фильм сняли! Да в таком кинотеатре покажут! Ух — гордость берёт. Вот на следующей неделе и свожу девочек.

Хорошо как. Поздняя весна. Иду по Калинина. Доходу до пересечения — улицы Сейфуллина. С нижней стороны — Г-образный Дворец пионеров и школьников. Для алмаатинцев это очевидная вещь: верх — там, где горы, низ — там, где степь. Напротив гор, стало быть. Так объясняют приезжим. Вид при этом у горожан такой, будто говорят о вещи естественной, совершенно явной. И искренне удивляются, когда приезжие, несмотря на усилия, крепкую умственную работу и зрительную активность, пожимают плечами, не понимают. Такие алмаатинцы.

Возле Дворца вижу первые группы людей. Это ребята из добровольной народной дружины, следят за порядком. Тоже мне — нашли место. Разве же возле Дворца пионеров, полного спортивных секций и кружков, сыщутся хулиганы? Конечно, позади Дворца есть небольшой парк, где могли бы обитать вредные элементы, так ведь в парке — бывший клуб работников НКВД. Не побалуешь.

Мимо проезжает одинокий рогатый троллейбус. Корпус у него двухцветный — снизу голубой, а сверху кремовый. Уютный такой снаружи, выпуклый. А на морде его красуется буква «Л», как на щитах воинов древнего Лакедемона. Но, конечно, здесь «Л» означает лаз. Да и внутри — то они не такие приятные. Старые: всё дребезжит, всё шатается. Вот-вот развалится. Хвалю себя за то, что решил идти пешком.

Сразу за троллейбусом проносится «Волга» с шашками, обгоняет его и исчезает вдали. Видно, какой-то руководитель спешит на вокзал. Так и затихает улица. Нет больше машин. Воскресенье.

Прошёл очередной квартал, и тут ноздри стали непроизвольно вздуться. Заработало обоняние, внезапно, остро. Нос улавливает дивные ароматы. Перехожу улицу на зелёный свет чёрного, будто лакированного, светофора, и запах усиливается. Сытый вышел их дома. Действительно сытый. Но здесь не выдержит и самый настоящий аскет. Истечёт слюной как пить дать, подавится. И вот уже рот наполняется слюной, ноздри расширяются, как у сторожевого алабая. Этот копчёный, дымковый, солёно-пряный букет как будто через нос проводит вкус на самый язык, между зубов, которые так и норовят клацнуть.

Это столичный гастроном. Это запах колбасы. Вижу, с задней стороны здания, во дворе, стоял зилы. Шофера́ пыхтят убойной махоркой, что аж издалека глаза хотят прослезиться, а двери кузовов распахнуты, как для объятий. «Продтовары» — гласит надпись на них. Разгружаются.

Вот я уже пересёк черту и попал на Брод. В промежутке между улицей Мира и улицей Фурманова — местный, алма-атинский Бродвей. Там дальше, строгий, но изящный, возносится к небу молочно-белыми колоннами театр оперы и балета. Современная закруглённая гостиница «Алма-Ата» — будто дама, сгибающаяся запястьем, протягивает ручку для поцелуя генералу Панфилову. В честь этого героя названа улица, угол которой занят зданием гостиницы.

Дошёл до проспекта Коммунистического. Через улицу маслится театр юного зрителя, огненно-жёлтый, с рыжиной. По бокам фасада, укрытые арками, стоят лучшие зазывалы из когда-либо бывших. Гипсовый Пушкин тасует строчки в увлечённом поиске сильнейшего ямба, и дедушка Джамбул с доброй улыбкой перебирает струны домбры перед тем, как вдарить и затянуть мысли и души детей в сказочный кюй. Там, на невидимой отсюда стороне, с задней части здания, есть ещё один кинотеатр, с детским репертуаром. Заводы, комбинаты, торговые пункты — это, конечно, отлично. Но ведь это город живой, современный, молодёжный. Культурная жизнь здесь бьёт неистовым фонтаном. Ведь мы победили. И теперь надо жить. Детей надо растить. Чтобы лучше им было, легче, чем нам.

Что же, пора сворачивать вниз и сходить с Бродвея. Спускаюсь до улицы Кирова. Там, справа, причудливой вавычкой изгибается футуристическая постройка. Отсюда мне видно только башню с курантами, но само здание главпочтамта чётко проплывает перед внутренним взором. Надпись «Телеграф-телефон-радио» едва видна за верхушками пышных хвойно-зелёных елей, но поверх неё отчётливо краснеет на фоне небесной лазури призыв: «Миру — мир».

Перехожу дорогу. Здесь, со всех четырёх сторон пересечения улиц, на асфальте лежат белоснежные зебры, почти блестящие, словно вычищенные с мылом. Куранты показывают половину десятого. Оно и заметно. Вокруг много людей. Женщины с высокими причёсками, как башлыки янычарских юзбаши, стучат шпильками на невысоких каблучках. Модницы быстрым шагом переходят улицы.

Целый квартал, огороженный добротными гранитными бордюрами, бетонными желобами арыков и полосой тротуаров, занимает Центральный сквер. Кое-где обзор перекрывают стойки с коммунистическими плакатами. Глаз улавливает лозунг, хороший, правильный: «Вперёд, в светлое будущее!» Напористый, требовательный

профиль Ленина как бы спрашивает у нас, потомков: «Каковы ваши успехи, товарищи? Всё ли вы предпринимаете?» Предпринимаем, Владимир Ильич, будьте спокойны.

А что мы предпринимаем? Врага мы отбросили, выгнали, победили. Выжили. «Но разве этого достаточно?» — строго вопрошает Ленин. Недостаточно. Но вот ведь. Живём.

Со стороны парка возвышается солидный фонарь, чтобы освещать по вечерам прогулочные аллеи, а заодно и телефонную будку. Тенистые тротуары сквера будто ведут отдыхающих под караульной колонной из деревьев и ярких скамеек. На них сидят женщины с покрытыми пёстрыми платочками головами. Те, кто постарше, — повязывают их в области подбородка, а помладше — сади, под затылком. На плечах матерей и бабушек лёгкие пальто, а то и вовсе узорные домашние халаты. Неподалёку от тружениц бегают мальчишки в здоровенных, не по размеру, кепках, видно папкиных. Кто покрыт фуражкой, а у кого и восьмиклинка-хулиганка красуется на голове. Эти держатся особенно вызывающе, некоторые даже силятся плевать промеж передних зубов. Дурачьё.

Из каменных бутонов бьют фонтаны. Струи разбиваются о круглые двухъярусные бассейны, и брызги попадают на бутоны живые. А эти, будто детки архитектурного творения, радуются, благодарно благоухают так, что до ноздрей отдыхающих доносится запах свежести, слегка терпкий, вкусный цветочный дурман, и глаза их улыбаются от вида блестящих зелёно-красных, жёлтых, белых и васильковых роз, лилий, фиалок и невесть каких ещё видов растений. Они не плодовые, эти цветы, они не производят продуктов питания. Они высажены здесь для них, для матерей и детей, для юношей и девушек, для молодых и старых. Они не наполнят желудки, эти цветы и ели. Они высажены, чтобы услаждать взоры и нюх, чтобы шелестеть листвой, стучать шишками и журчать иголками, чтобы жили советские люди и наслаждались результатами своего честного труда по воскресеньям, гуляли с детьми в окружении таких вот красот, чтобы молодые миловались за пышными кронами, избегая строгих взоров стариков, и те, старые, чтобы глядели и по-доброму ворчали на всех вокруг, чтобы в сердцах у них были покой и удовлетворения и радость от прожитой жизни после невзгод и горестей, которые они сумели преодолеть. Ради жизни, ради людей, ради детей. Чтобы жили они вот на такой благодарной земле, на просторах Советской страны.

Вот как живём! Вот для ради чего воевали, дедушка Ленин.

Вокруг всё больше людей. Женщины и детвора вокруг. Ещё бы! Ведь впереди «Детский мир» со стёклами вместо стен. Что за сказочные игрушечные чудеса выставлены напоказ за этими стёклами,

я уж смотреть не пойду. Мне — в Союз писателей, не доходя до этого волшебного царства.

Чего-то раззадорился, разволновался. Передо мной четырёхугольная, расширенная кверху стеклянная будка с плоской крышей. Здесь по будням продают газеты, журналы и беллетристику. Сейчас с задней стороны высятся стопки макулатуры, и молодой человек с ещё одной увесистой пачкой в руках переругивается с продавцом. Это он пытается заполучить талон на новую книжку. Ишь хитрец! Пришёл в воскресенье, чтобы не стоять в очереди. Но количество сданной макулатуры впечатляет даже меня, и продавец тоже пытается выторговать какие-то условия. Отворачиваюсь, чтобы не смущать его, пусть, пусть выдаст что-нибудь этому парню. Может, не редкого Эриха Ремарка, но что-нибудь из нашего — оно ничем не хуже! Мусрепов, Ахтанов, Есенберлин! Столько книг вышло в последнее время!

Спешу в родную редакцию Госкомитета по печати. Вскакиваю вверх по лестнице, как архар, через две-три ступеньки. И вот останавливаюсь.

Сердце застучало сначала легонько. Чаще обычного. И тревожно быстро, отрывисто. Слишком отрывисто. На плечо будто бы уронили тяжёлую глыбу. Правой стороной придавливает к земле.

Это она, сволочь, вернулась. Руку пронизывает точёным тычковым ударом. Сверлящая боль люто вгрызается в локоть и ниже. Всю руку охватывает дрожь, и будто двое дюжих работяг поочередно лупят по ней ломанами. Слышу хруст костей. От плеча по всему телу разливается жар кузнечного пламени.

Едва не падаю здесь же, как после приступа. Но умудряюсь согнуться, упереться в колено правой рукой и делаю вид, будто запыхался от подъёма по лестнице. Одним глазом оглядываюсь. Из редакции никого не видно, в окнах как будто тоже пусто. Хорошо. Значит, никто не увидел этого позорца. Вот была бы потеха, анекдот для стахановцев или целинников: здоровый мужик одолел дюжину ступенек, свалился и помер, не дойдя до рабочего места. Немощный, что ли, или вдрызг упившийся, а может, и вовсе калека?..

Нет-нет. Нужно с этим справиться. Боль в руке вышибает мозги. Даже не чувствую её. Чувствую слёзы на лице. И сразу — стыд. Ловлю спасительную мысль: это не от боли слёзы потекли, а оттого, что чересчур сильно зажмурил глаза, — и не отпускаю её, эту мысль.

Так. Легче. Ощущение температуры тела не меньше сорока градусов, а по спине мурашки. Противно, скользко.

Стираю пот с верхней губы, подавляю предательский стон. Мычу только.

Закрадывается гаденькая мыслишка: а не вернуться ли домой, ведь ещё не поздно? А то поплочее ещё там, в редакции, при людях. Закудахтают вокруг, водичку поднесут, как немощной старухе,

да, чего доброго, скорую вызовут. Потом ещё месяц будет спрашивать про здоровье. Иди домой, пока не поздно. Не позорься.

Нет! Чтоб тебя, сволочь!

Встряхиваю правым плечом от обиды. На этот раз стон сдержан не получается, но злость на трусливую мыслишку так сильна, что помогает преодолеть эту гниду. Выпрямляюсь, поправляюсь. Иду в редакцию. Надо отвлечься. Надо не быть одному. А не то она меня съест. Никакой скорой не понадобится. Уйди пока, уйди же!

Какая у меня, должно быть, жалкая физиономия. Но ничего, иду вперёд торопливо, как заведённый ключиком со спины.

Дверь бокового кабинета приоткрыта, почти врываюсь туда. Трое мужчин удивлённо поворачивают головы. Да, начальство пришло, в лице замдиректора редакции. Отвлёк их от дел. Да ещё и в воскресенье. Натужно улыбаюсь.

— Споткнулся, — зачем-то оправдываюсь.

Чувствую себя ещё бóльшим олухом. Но обстановку разрядил. Ребята как будто только сейчас меня узнали.

Здороваются каждый на свой лад. Игорь Марков машет приветливо, как перевёрнутым кверху маятником, и робко пожимает мне руку. Саша Сурганов рывком, как классный отличник, демонстрирует ладошку с растопыренными пальцами. Только Аскар Нурмаханов немного смущается, будто хочет подойти, да не может, кладёт руку на сердце и кланяется, прячет покрасневшее лицо за надбровными дугами и густой чёлкой. И после всё же подходит, здоровается двумя руками. Я протягиваю одну.

Но аульные ребята всегда такие. Застенчивые, почтительные. Лет так десять нужно поработать в городе, пообщаться, попривыкнуть. А там и жирок нарастёт. Беззаботности с примесью наглцы, как у Саши, может, и не появится — это какое-то врождённое качество горожан, — но вот деловитость, уверенность в себе, а потом и важность охватывает каждого со временем.

Захожу, сажусь на стул с обратной стороны Сашиного стола. Есть отдельный кабинет, замдиректорский. Но сегодня не хочу сидеть там, хочу побыть с ребятами. Как водится, какое-то время ощущается напряжённость с их стороны. Разбиваю: — Ну, что нам пишет трудовой народ, Игорь? Есть интересные письма?

— Завал! Пока одни благодарности. Но, может, найду и что-нибудь остренькое, актуальное. А то и рецензию какую.

Стол Игоря действительно заставлен стопками писем от читателей. Он разбирает одно за другим. Асеке занимается чем-то своим, пишет что-то. Саша читает газеты.

Постепенно они успокаиваются и начинают работать в своём режиме. Болтают обо всём.

Асеке спрашивает, как будто продолжает давно начатый диалог, но вижу, что это не так:

— «Наш город утопает в зелени» или лучше «покрыт зеленью»? — специально громко говорит, чтобы услышал.

Конечно, сам не замечает, как вместо того, чтобы подчеркнуть кажущееся изящество своей фразы, больший акцент делает на слове «наш». Сразу видно — новоприбывший, аульчанин. Лет двадцать назад, в студенчестве, и мне доводилось работать над этим. Тщательно подбирать слова, следить за акцентом, зачем-то стараться выдавать себя за городского. Это было пустое, тогда как надо было налегать на учёбу. Хорошо, нашлись старшие товарищи, указали, направили. И что? С тех пор, наоборот, стал подчёркивать своё деревенское происхождение.

Критикую въедливо, строго — это всем известно. И в редакции не даю продохнуть, вычёркиваю без стеснения. Есть такой род критиков, которые ставят её как саму цель. Критиковать, чтобы показать себя, все свои знания выплеснуть на листок бумажки и приурочить к разному работ молодого автора. Выпятить свою приверженность линии партии. Таких не интересует работа начинающего писателя. Такие сидят дома, обложившись многотомниками Маркса и Ленина, а то и опубликованными стенограммами речей первого секретаря партии, и только ищут, куда бы в своей критике вставить очередную цитату. Чтобы сверху увидели, отметили, как рьяно они борются с чем-то. С молодыми талантами, с неокрепшими писателями, с неуверенными ещё в своих работах авторами, которым нужно помогать, подставлять плечо, критиковать мягко и строго, тонко подходить к такой работе.

Мне не нравятся ни то, ни другое из предложенного Асеке. Но парня надо уважить, показать заинтересованность.

— Это избитая фраза. Поищи другую, — отмахивается Саша.

Игорь кивает.

Ну вот. Придётся либо заступиться, либо сказать правду. Асеке как бы не смеет смотреть на меня, ведь это выдаст его желание получить поддержку от старшего товарища, да ещё и начальника. И как будто успокаивается.

— Это зависит от контекста, Асеке. Смотря что пишешь. Цветистая метафора в деловой заметке неуместна. И наоборот, писать стихотворение бездушно и сухо — не имеешь права, — говорю так, чтобы это не звучало окончательным приговором, приглашаю ребят к дискуссии.

— Наш Асеке задумал написать повесть! — поясняет Игорь смешливо, но добродушно.

— Да! Остаётся только удивляться: почему не роман? Малые формы не для нашего Асеке, — вставляет и Саша, уже как будто грубее.

Но, Асеке это не смущает. Чувствую, что эта тема у них давно в шутивно-серьёзной разработке. — А о чём планируется повесть? — спрашиваю серьёзно.

— Послевоенная Алма-Ата, — отвечает за Асеке Игорь.

— Ну... Да... — подтверждает молодой писатель.

— Решил писать на русском языке? — спрашиваю.

Асеке весь млеет. Так, что за лицом цвета раскалённого металла едва заметен лёгкий кивок. Да, автор — не редактор. В первое время шибко стесняется.

— По-казахски мы бы сказали: «Көк астында қала көрінеді»<sup>1</sup>, — или: «Қалың көк үйлердің шатырларын да көрсетпейді»<sup>2</sup>. Отсюда вытекает другое возможное сравнение: «Орман тоғайлары тұншықтырып итермелейтіндей, бірақ қала аспанға көтеріліп тау ұштарына ұмтылады»<sup>3</sup>. Это уже лексически сложная метафора, и, вполне возможно, она будет стилистически неуместна. Не нужно излишне усложнять. Но, наверно, так тебе будет легче осознать ширину горизонта поиска. Попробуй думать на казахском, и тебе откроются неисчерпаемые запасы слов и образов, — говорю.

Пока Асеке слушал, глаза его постепенно расширялись. Вижу — осознал. Благодарит, спешит заняться делом.

Ах, Алма-Ата!.. Да разве ж ты похожа на девушку? Нет. Молодая, или, скорее, юная... девица. Ещё не сформировавшаяся, не девчонка уже, но и не невеста. Августовское яблочко, пухлый апорт с розоватыми щеками. Они поалеют, щёчки-то, к сентябрю. А к середине осени уже готово будет, проситься будет, чтобы сорвали крепкие руки джигита-садовода. А не сорвёшь, так плод сам упадёт, не выдержит ветка спелой тяжести. А там потопчут, погниёт и разве что на компот сгодится. Вот и город Яблочный требует должного внимания, кропотливого ухода, своевременных решений. Перед горкомом партии стоят серьёзные задачи. Озеленение, оросительные системы, борьба с застаиванием воздуха, обеспечение чистой экологии. Работать над городским планированием надо вдумчиво, зная.

Асеке вдохновлённо строчит в своей тетрадке, чиркает, облизывает кончик ручки и снова делает выпад, будто орудует шпагой. Ни на кого больше не смотрит, не обращает внимания. По-казахски-то ему легче, сразу десяток метафор, образов приходит на ум. Хорошо. Видно, правильно направил ход его мыслей.

Раз уж сел за Сашин стол, пробегаю глазами по заголовкам газет. Это важно — быть в курсе всех новостей и событий, ознакомиться с периодикой. Конечно, Саша не успел этого сделать в будние дни — много текучки — и поэтому, видно, пришёл в воскресенье.

«Пролетарии всех стран, присоединяйтесь!» — призывают передовицы. Раскрываю наугад. «Казправду».

Читаю: «Алма-атинскими милиционерами был задержан рецидивист Сергей Л.».

— Это что? — удивлённо тарашусь на Сашу.

— А, прочитали? Помните ту историю? Ну, с медвежатником?

— Ну?

— Не слышали? Крупное дело! — увлечённо рассказывает Саша.

Игорь тоже заинтересованно поворачивает голову. Только Асеке всё безразлично. Творит, умища.

— Так вот, медвежатник этот сбежал из тюрьмы где-то на Дальнем Востоке. Ух и матерья сволочь оказалась...

— Да погоди ты, Саша! Что за медвежатник? Охотник, что ли?

— Ну вы даёте! Нет. Медвежатниками оперативники называют этих... ну как их?... расхитителей сейфов... — поясняет Саша.

— Это такие умельцы, чтоб их, которые вскрывают любые замки. Есть и другие специалисты узких направлений, вроде карманников и форточников, — вставил Игорь.

— Грабитель, получается, — констатирую.

— Да, такой особый вид грабителя. Так вот этот паскудник сбежал из тюрьмы где-то в Магадане, и что бы вы думали? Прикатил сюда, в Алма-Ату. Инкогнито, естественно. Здесь у него живёт подружка!

— Истомился, видать, на государственных-то харчах, — хмыкнул Игорь.

— Да, видно, крепко любил, раз через всю страну прикатил сюда, — соглашается Саша.

— Это он не ради подружки сюда приехал. Здесь воздух хороший!.. Да! «Между гребными гор, как на руках матери, уютно лежит красавец-город, и плеск речушек напоминает тихое бормотанье колыбельной...» — вдруг нараспев выговорил Асеке и тут же снова вонзил ручку в тетрадный лист, повесив голову.

Не выдержал, улыбнулся. Потом прорвало Игоря. И уж совсем раскатистым получился хохот, когда Саша был вынужден прервать своё повествование и тоже рассмеялся в голос.

Асеке это вовсе не тронуло. Новое, яркое и, видимо, сложное изображение охватило его ум, и теперь он силится расписать его, как художник расписывает картину изящными мазками, но только инструменты его — плетение слов, красноречие

.....

1. «Из-под зелени виднеется город» (каз.).

2. «Из-за густой зелени и крыш домов-то не видать» (каз.).

3. «Лес будто выталкивает и душит, но город поднимается к небу и тянется к вершинам гор» (каз.).

выражений, лексические ухищрения. Творит, создаёт, пишет!

Отсмеявшись, Саша был вынужден приложить некоторые усилия, чтобы вернуть внимание на себя. Видно было, что он знает об этом деле не из скудных газетных заметок, а из каких-то более близких к делу источников. Он продолжил:

— Значит, нашим оперативникам пришла ориентировка на этого типа, и начался розыск. Но бандит этот оказался осторожен. Жил себе вроде бы тихонько да с подружкой любился. Их амурное гнёздышко, или, скорее, воровское гнездо, располагалось в самом подходящем месте — в микрорайоне Тастак, за дамбой, дальше сайранского песчаного карьера. Где-то в районе птичьего рынка, у трамвайного кольца. А народ там проживает лихой: всё-таки окраина, базарное место. Только непонятно было, на какие средства он живёт. А в это время в милицию поступило несколько заявлений от работников пластмассового завода «Кызыл-ту». Было совершено несколько квартирных краж, — Саша перевёл дыхание, убедился в нашей увлечённости по расширенным глазам и полуоткрытым ртам и стал развивать рассказ: — И вот в один вечер бандитская парочка закатила пирушку, перепились до одури, песни распевали, пляски устроили до поздней ночи. Видать, обмывали успешное дельце. Вот на них соседка и настучала... Ну, то есть проявила бдительность. Позвонила участковому, а тот был на выезде. Тогда она побежала на соседнюю улицу, где жил её племянник, народный дружинник. Тот, значит, разбудил приятеля, и вместе они отправились утомонить весельчаков. В стельку пьяный медвежатник увидал, что в гости к нему пожаловали не милиционеры, а какие-то молодые ребята в гражданской одежде, и, недолго думая, кинулся на них с кулаками. Вот это он зря. Ребята его обезвредили, связали и отволокли в ближайшее отделение милиции. Представляете, как удивились оперативники из следственной группы, когда известного на всю страну рецидивиста привели дружинники?! Так и попался. Следом привели и его подружку-подельницу. Но знаете, что здесь самое интересное? В ходе допроса он готов был сознаться в совершении нескольких краж и взять всю вину на себя, да к тому же указать на тайник, где запрятано награбленное, а взамен просил освободить от ответственности свою подругу и... не поверите!.. привезти ему тетрадку, где он записывал свои стихотворения!

— Па! — вырвалось.

— И что? И что? — спросил Игорь, обеспокоенный тем, что Саша довольно категорично прервал свой сказ.

Он рассказывал гораздо интересней, чем было написано в короткой заметке «Казправды».

И поэтому, насколько точны были его сведения, никого не интересовало.

— Что, что! Девку эту, конечно, не отпустили. Закон — он для всех закон. Но наверняка прокурор и судья учтут смягчающие обстоятельства. Медвежатник ведь пошёл на сотрудничество со следствием.

— А тетрадка?

Уж насколько далёк от криминальной хроники, а тут заинтересовался. Ишь! Расхититель, рецидивист... и влюблённый поэт! Видать, не всё потеряно для этого человека, хоть и трудно ему будет реабилитироваться, заслужить, заработать прощение. Но верю, что он всё же встанет на путь исправления. Не может не встать.

— Чего не знаю — того не знаю, врать не буду, — заключил Саша, но добавил: — Думаю, заключённым не запрещается пользоваться карандашом и бумагой... Чтобы писать. Хотя — кто знает? Ведь заточенным карандашом он мог бы нанести вред окружающим... или себе. Не знаю.

И эта мысль была какой-то новой, как будто из другого мира. Да, стало быть, зря поругивал народных дружинников. Какое дело совершили. Подвиг! Хотел задать Саше ещё один вопрос, но как раз об этом в заметке «Казправды» было написано. Дружинников наградили и даже рекомендовали к поступлению на юридический факультет Казахского государственного университета имени Кирова через комсомольскую организацию. Вот это правильно. Одно дело махать кулаками, другое — дать образование, правильно направить молодёжь, вырастить из простых сочувствующих — настоящих специалистов-оперативников.

Так сидели, перебрасывались фразами, шутили. Почитав газеты, подумал, что пора бы перебраться к столу Игоря, помочь с письмами. Каждое надо было вскрыть, прочитать, на иные ответить, попробовать вычлнить те, которые неплохо бы опубликовать. Кропотливая работа.

Но время близилось к обеду. Так и не успел поработать. В кабинет идти не хотелось. Где-то внутри крепла уверенность, что стоит оказаться одному, как она вернётся, начнёт покусывать, ныть, по одной отрывать жилки в мышцах руки. Поэтому сижу, держусь ребят. С ними интересно, весело, не до неё.

И всё же время близилось к обеду. Думаю, что ребятам хотелось бы побить одним, переговорить о своём перед тем, как уйти домой. Негоже было их смущать и тем более задерживать в воскресенье своим присутствием. Надо было уходить.

Постепенно встаю, перебрасываюсь приветливыми словами с каждым, прощаюсь, ухожу.

Обратно иду уже быстрее, хотя домой не хочется. Там нет никого. Значит, там будет она. Встретит как любимого и пытаться станет. Конечно, попробую поработать, да и поесть надо. Главное — о ней не думать. Направить мысли в другую сторону.

Но не получается. Стоит вспомнить о боли, и она тут как тут. И мысли все на неё направлены. А ведь сам их подогреваю. Ничего не могу с этим поделаться. Пока иду, думаю. Она поздней весной приходит, в годовщину. Больше двадцати лет, всегда, как рок. Но в этот раз она совсем лютая. Видно, потому, что остался один. Она почувствовала это и набросилась, как пытка гниющих зубов, такая глубокая, что точит даже рассудок. Пилит, пилит...

Жалости нет. Её больше никогда не бывает. Подобные мысли вышибались из мозгов быстро и навсегда. Там, в полевых и эвакуационных госпиталях. Что там ранение в руку? Что рваные, колотые, осколочные увечья? Ничто. Там всегда находилось что-то похуже. Стоило только оглянуться по сторонам. Легче от этого не становилось, наоборот. Потерявших глаза вели безрукие. Безногих тащили на себе раненые в животы, на четвереньках, заодно со своими внутренностями. Врачи оперировали молча, дежурно и, порой казалось даже, равнодушно. Вынуть пулю, сбить жар, отпилить конечность... Каждый день, каждый час, до истощённого обморока. И ничего. Шутили даже. Оперировали, выхаживали, вытягивали. И теперь все эти люди здесь. В каждом городе, в каждой деревушке советской земли. Сильные, закалённые, преодолевшие. Много раз восставшие. Нужные, полезные для Родины и людей.

Дохожу до двора весь в поту. Двор у нас чистый, цветущий. Придомовые клумбы огорожены синими заборчиками. На них часто играют дети, когда им требуется что-то вроде загона, полевых ограждений. А как они визжат, когда старушки, ухаживающие за посадками, гоняют их! Ну прямо окрик фашиста в темноте во время разведки. Прыскают, разбегаются в разные стороны, а иной смельчак даже кулаком погрозит да наведёт на окна первого этажа свой ппш, любовно выточенный из коряги. «Тра-та-та!» — даст очередь и прячется за ближайшее дерево. Похоже.

Мы так же играли. Играли в красных и интервентов, в чекистов и беляков. А эти карапузы играют в нас.

Чувствую прилив крови к лицу. Глаза сощурились, губы растягиваются в улыбке, постепенно, медленно. Подбородок опускается книзу, и взгляд стреляет из-под бровей. Как кот на охоте.

Сквозь заросли вижу соседа. Сидит на лавочке поперёк, широко расставив ноги. Перед ним шахматная доска, тактическая расстановка. По всему видно: сидел, отрабатывал задачку. Но вдруг, задумавшись над решением, поднял глаза, и взгляды наши схлестнулись. Это давний, принципиальный соперник!

Подхожу. Взгляд у меня высокомерный, немного поверх него. А у него вызывающий, насмешливый. На груди блестит латунь «За взятие Берлина». Это

его любимая, маленькая, скромная с виду медаль. Ждал меня, что ли, старый шайтан?

Он детдомовец и большой молчун. В сорок первом детский дом был эвакуирован из Москвы и расположился в Алма-Атинской области. Там и познакомились, когда был студентом Капальского училища. Уже тогда он считался переростком и через два года отправился добровольцем на фронт. Вернулся вроде невредимым, только с головой что-то случилось. Как и у всех нас, да только у него по-особенному. Живёт бобылём, работает художником-иллюстратором, пьёт запоем, но только один месяц в году, в мае. Остальное время молчит. Почти всегда.

И вот лет пять как живём в одном доме, в одном дворе. Играем в шахматы.

Вылез из своей норы после месячного затворничества.

Предпочитает комбинационную игру, любитель обострения и смелых жертв. Импульсивный, нервный. Хорошо, что молчун. В стилях и заключается принципиальное отличие: предпочитаю позиционную игру, медленную, душашую, капбланковскую. Частенько не так радуется победа или сдача, как скучная, тактически выверенная ничья. В такие мгновения этот молчун может взорваться. И нет для меня большего наслаждения, как эти взрывы. Ведь тогда он начинает говорить! И как говорить! Таких сочных ругательств не услышишь больше нигде. А его смущённое лицо после очередной реплики, а поспешные извинительные формулировки, образы, оксюмороны! О! Кладезь для писателя! Но для этого его необходимо раскалить, раздуть, одолеть!

Но когда его жертвы удаются, когда комбинации проходят и безудержные атаки сокрушают мои позиции — горе мне! Молчун потом — сама любезность. Протягивает ручку, похлопывает по плечу, покровительствует. Стоит увидеть меня, хоть за километр, обязательно подойдёт, покивает сочувственно, повертит головой: мол, ай-яй-яй, ну как же так-то, эх, бедолага. Весь двор вынужден наблюдать, как он проплывает мимо подъезда павлиней походкой, с распёртой от гордости грудью и непробиваемым лицом гроссмейстера, осознающего своё преимущество над всеми остальными. К сожалению, это бывает не так-то редко.

Здороваемся, взглядов не отводим. Хлопок получается звонким, вызывающим. Глазами приглашает меня сесть, улыбается с ехидцей.

Сажусь, рассматриваю позицию на доске. Но он быстро сребает фигуры. Взглядом велит расставлять, суёт белого короля. Ехидца пропала. Видно, не по зубам оказалась задачка. Хорошо! Стало быть, половина дела сделана — он расстроен, лишён победного духа, уверенности в себе. А ведь ещё не начали. Хорошо!

Фигуры расставлены. Начинаем.



Партия может длиться много часов. Бывает, засиживаемся до ночи. Вот и теперь так получится. Буду душить его. Постепенно, пешечку за пешечкой, клеточку за клеточкой, давить буду, окружать, раскальвать.

Это хорошо. Это то, что мне сейчас надо. Весь поглощён игрой. Занят, ни до чего дела нет.

Детям уже давно надоело наблюдать за игрой. Сначала столпились вокруг, разделились на группки, кто встал за ним, кто за мной. У него почитателей больше. Он обостряет, атакует, не так часто погружается в часовые раздумья. А за мной наблюдать скучно. Дети обменялись шепотками, поковыряли в носах да разбежались.

Соперник сделал ход и понял, что задумаюсь надолго, поэтому взмахом руки подозвал ближайшего пацанёнка, отсчитал двенадцать копеек и сунул в рючку. Паренёк умчался за папиросами «Прибой». Все знали, чем пыхтит мой соперник.

Ещё издалека приметил, как паренёк бежит обратно. Солнце светит в глаза, отвлекаюсь от доски. Пытаюсь сосредоточиться на мальчишке. И вот он подбегает, уже совсем близко. И спотыкается. Дёрнулся, встаю, пытаюсь подхватить его левой рукой. И не могу...

Ничего не могу. Пошевелиться не могу.

Мальчишка пробежал несколько шагов вперёд головой, как бодливый барашек, но не упал, удержался, лихач. Улыбнулся щербато, отдал папиросы и снова умчался сайгаком.

Оцепенел.

От кончиков пальцев, от самых подушечек, вверх, к фалангам и к запястью, проникнет в предплечье и начинает рвать мышцы, медленно и ползуче. Останавливается будто бы поразмыслить: рвать ли? И не порвёт, дальше пойдёт.

В голове уже дважды вспыхнуло адово пламя, вены взбухают на лбу, и глаза полезли наружу, будто выдавленные. Но ей что? Сдюжил, не потерял сознание посреди двора, как впечатлительная студентка? Нет? Тогда терпи дальше. А дальше рвущей боли не будет. Она осталась там, позади, под локтем. А дальше у нас, согласно плану, плечо. В самом вкусном месте, где сухожилия и бицепс.

Там режущая боль, пилящая. Такая, что вышибет дух из быка-пятилетки.

Ноет рука, орёт. В груди разрывается. Вот-вот горизонт треснет и расколется напополам, взорвётся миллионом острых осколков. Она выгрызает последние силы, ломоть за ломтём. Не выдержу.

Вот оно, думаю. Сейчас помру. И тогда отпустит, наконец, перестанет.

Опустил голову, жду облегчения, и тут...

Слышу смех. Заливаются. Птички, что ли? Птички? Конец?

Ха-ха! Не-ет,— улыбаюсь сквозь слёзы, засунутые обратно в глаза. Ощущаю себя хитрюгой.

Девчонки! Доченьки мои!

Вскакиваю, что горный архар. Никакой боли нет. Сгинула, шельма, ушла!

— Давай, давай! Завтра доиграем!— ухожу, убегаю, даже руку не протянул.

— Эй, Сейсенбек!.. Какой завтра? Какой там завтра?!.. Ты коня-то, коня не забрал!..— возражает такой редкий, такой приятный голос вдалеке.

Обидно ему—какая была жертва!

Но вот они, приехали! Съездили в гости к родственникам жены на все выходные. И вернулись. Вернулись!

Младшую поднимаю на руку, больше места нет. Двое старших обнимают меня с двух сторон. Жена целует в щёку и несёт сумки с одежкой, со сменкой, с принесённой едой. Домой идём.

Стыдно до одурения. Смех распирает изнутри. Не сдерживаю: прорывайся! Хохочу.

Когда это было? Совсем давно? Или во сне? Помираю я, что ли, собрался? Ну осёл! Да таких болванов ещё поискать!

От моего внезапного дурацкого гогота засмеялась дочурка на коленях. Думает, игра такая, аж захрюкала. Смеёмся, глядим друг на друга, глаза—как переполненные бурдюки, вот-вот прорвутся.

Обнимаю её правой рукой.левой—глажу по голове. Она, конечно, не ощущает ласки. Ведь нет левой-то. Там осталась, в полевом госпитале. И не болит она вовсе. Не может болеть. Когда дома мои девочки.